

## ПОЦЕЛУЙ

Двадцатого мая, в восемь часов вечера, все шесть батарей N-й резервной артиллерийской бригады, направлявшейся в лагерь, остановились на ночевку в селе Местечках. В самый разгар суматохи, когда одни офицеры хлопотали около пушек, а другие, съехавшись на площади около церковной ограды, выслушивали квартирьеров, из-за церкви показался верховой в штатском платье и на странной лошади. Лошадь буланая и маленькая, с красивой шеей и с коротким хвостом, шла не прямо, а как-то боком и выделявала ногами маленькие плясовые движения, как будто ее били хлыстом по ногам. Подъехав к офицерам, верховой приподнял шляпу и сказал:

– Его превосходительство генерал-лейтенант фон Раббек, здешний помещик, приглашает господ офицеров пожаловать к нему сию минуту на чай...

Лошадь поклонилась, затанцевала и попятилась боком назад; верховой еще раз приподнял шляпу и через мгновение вместе со своею странною лошадью исчез за церковью.

– Черт знает что такое! – ворчали некоторые офицеры, расходясь по квартирам. – Спать хочется, а тут этот фон Раббек со своим чаем! Знаем, какой тут чай!

Офицерам всех шести батарей живо припомнился прошлогодний случай, когда во время маневров они, и с ними офицеры одного казачьего полка, таким же вот образом были приглашены на чай одним помещиком-графом, отставным военным; гостеприимный и радушный граф обласкал их, накормил, напоил и не пустил в деревню на квартиры, а оставил ночевать у себя. Все это, конечно, хорошо, лучшего и не нужно, но беда в том, что отставной военный обрадовался молодежи не в меру. Он до самой зари рассказывал офицерам эпизоды из своего хорошего прошлого, водил их по комнатам, показывал дорогие картины, старые гравюры, редкое оружие, читал подлинные письма высокопоставленных людей, а измученные, утомленные офицеры слушали, глядели и, тоскуя по постелям, осторожно зевали в рукава; когда наконец хозяин отпустил их, спать было уже поздно.

Не таков ли и этот фон Раббек? Таков или не таков, но делать было нечего. Офицеры приоделись, почистились и гурьбою пошли искать помещичий дом. На площади, около церкви, им сказали, что к господам можно пройти низом – за церковью спуститься к реке и идти берегом до самого сада, а там аллеи доведут куда нужно, или же верхом – прямо от церкви по дороге, которая в полуверсте от деревни упирается в господские амбары. Офицеры решили идти верхом.

– Какой же это фон Раббек? – рассуждали они дорогой. – Не тот ли, что под Плевной командовал N-й кавалерийской дивизией?

– Нет, тот не фон Раббек, а просто Раббе, и без фон.

– А какая хорошая погода!

У первого господского амбара дорога раздваивалась: одна ветвь шла прямо и исчезала в вечерней мгле, другая – вела вправо к господскому дому. Офицеры повернули вправо и стали говорить тише... По обе стороны дороги тянулись каменные амбары с красными крышами, тяжелые и суровые, очень похожие на казармы уездного города. Впереди светились окна господского дома.

– Господа, хорошая примета! – сказал кто-то из офицеров. – Наш сеттер идет впереди всех; значит, чует, что будет добыча!..

Шедший впереди всех поручик Лобытко, высокий и плотный, но совсем безусый (ему

было более двадцати пяти лет, но на его круглом, сытом лице почему-то еще не показывалась растительность), славившийся в бригаде своим чутьем и умением угадывать на расстоянии присутствие женщин, обернулся и сказал:

– Да, здесь женщины должны быть. Это я инстинктом чувствую.

У порога дома офицеров встретил сам фон Раббек, благообразный старик лет шестидесяти, одетый в штатское платье. Пожимая гостям руки, он сказал, что он очень рад и счастлив, но убедительно, ради Бога, просит господ офицеров извинить его за то, что он не пригласил их к себе ночевать; к нему приехали две сестры с детьми, братья и соседи, так что у него не осталось ни одной свободной комнаты.

Генерал пожимал всем руки, просил извинения и улыбался, но по лицу его видно было, что он был далеко не так рад гостям, как прошлогодний граф, и что пригласил он офицеров только потому, что этого, по его мнению, требовало приличие. И сами офицеры, идя вверх по мягкой лестнице и слушая его, чувствовали, что они приглашены в этот дом только потому, что было бы неловко не пригласить их, и при виде лакеев, которые спешили зажигать огни внизу у входа и наверху в передней, им стало казаться, что они внесли с собою в этот дом беспокойство и тревогу. Там, где, вероятно, ради какого-нибудь семейного торжества или события съехались две сестры с детьми, братья и соседи, может ли понравиться присутствие девятнадцати незнакомых офицеров?

Наверху, у входа в залу, гости были встречены высокой и стройной старухой с длинным чернобровым лицом, очень похожей на императрицу Евгению. Приветливо и величественно улыбаясь, она говорила, что рада и счастлива видеть у себя гостей, и извинялась, что она и муж лишены на этот раз возможности пригласить гг. офицеров к себе ночевать. По ее красивой, величественной улыбке, которая мгновенно исчезала с лица всякий раз, когда она отворачивалась за чем-нибудь от гостей, видно было, что на своем веку она видела много гг. офицеров, что ей теперь не до них, а если она пригласила их к себе в дом и извиняется, то только потому, что этого требуют ее воспитание и положение в свете.

В большой столовой, куда вошли офицеры, на одном краю длинного стола сидело за чаем с десяток мужчин и дам, пожилых и молодых. За их стульями, окутанная легким сигарным дымом, темнела группа мужчин; среди нее стоял какой-то худощавый молодой человек с рыжими бачками и, картавя, о чем-то громко говорил по-английски. Из-за группы, сквозь дверь, видна была светлая комната с голубою мебелью.

– Господа, вас так много, что представлять нет никакой возможности! – сказал громко генерал, стараясь казаться очень веселым. – Знакомьтесь, господа, сами попросту!

Офицеры – одни с очень серьезными и даже строгими лицами, другие, натянуто улыбаясь, и все вместе чувствуя себя очень неловко, кое-как раскланялись и сели за чай.

Больше всех чувствовал себя неловко штабс-капитан Рябович, маленький сутуловатый офицер, в очках и с бакенами, как у рыси. В то время как одни из его товарищей делали серьезные лица, а другие натянуто улыбались, его лицо, рысьи бакены и очки как бы говорили: "Я самый робкий, самый скромный и самый бесцветный офицер во всей бригаде!" На первых порах, входя в столовую и потом сидя за чаем, он никак не мог остановить своего внимания на каком-нибудь одном лице или предмете. Лица, платья, граненые графинчики с коньяком, пар от стаканов, лепные карнизы – все это сливалось в одно общее, громадное впечатление, вселявшее в Рябовича тревогу и желание спрятать свою голову. Подобно чтецу, впервые выступающему перед публикой, он видел все, что было у него перед глазами, но видимое как-то плохо понималось (у физиологов такое состояние, когда субъект видит, но не понимает, называется "психической слепотой"). Немного же погодя, освоившись, Рябович прозрел и стал наблюдать. Ему, как человеку робкому и необщественному, прежде всего бросилось в глаза то, чего у него никогда не было, а именно – необыкновенная храбрость новых знакомых. Фон Раббек, его жена, две пожилые дамы, какая-то барышня в сиреневом платье и молодой человек с рыжими бачками, оказавшийся младшим сыном Раббека, очень хитро, точно у них ранее была репетиция, разместились среди офицеров и тотчас же подняли горячий спор, в который не могли не вмешаться гости. Сиреневая барышня стала горячо доказывать, что артиллеристам живется гораздо легче, чем кавалерии и пехоте, а Раббек и пожилые дамы утверждали противное. Начался перекрестный разговор. Рябович глядел на сиреневую барышню, которая очень горячо спорила о том, что было для нее чуждо и вовсе не интересно, и следил, как на ее лице появлялись и исчезали неискренние улыбки.

Фон Раббек и его семья искусно втягивали офицеров в спор, а сами между тем зорко следили за их стаканами и ртами, все ли они пьют, у всех ли сладко и отчего такой-то не ест бисквитов или не пьет коньяку. И чем больше Рябович глядел и слушал, тем больше

нравилась ему эта неискренняя, но прекрасно дисциплинированная семья.

После чая офицеры пошли в зал. Чутье не обмануло поручика Лобытко: в зале было много барышень и молодых дам. Сеттер-поручик уже стоял около одной очень молоденькой блондинки в черном платье и, ухарски изогнувшись, точно опираясь на невидимую саблю, улыбался и кокетливо играл плечами. Он говорил, вероятно, какой-нибудь очень интересный вздор, потому что блондинка снисходительно глядела на его сытое лицо и равнодушно спрашивала: "Неужели?" И по этому бесстрастному "неужели" сеттер, если бы был умен, мог бы заключить, что ему едва ли крикнут "пиль!".

Загремел рояль; грустный вальс из залы полетел в настезь открытые окна, и все почему-то вспомнили, что за окнами теперь весна, майский вечер. Все почувствовали, что в воздухе пахнет молодой листвой тополя, розами и сиренью. Рябович, в котором, под влиянием музыки, заговорил выпитый коньяк, покосился на окно, улыбнулся и стал следить за движениями женщин, и ему уже казалось, что запах роз, тополя и сирени идет не из сада, а от женских лиц и платьев.

Сын Раббека пригласил какую-то тощую девицу и сделал с нею два тура. Лобытко, скользя по паркету, подлетел к сиреневой барышне и понесся с нею по зале. Танцы начались... Рябович стоял около двери среди нетанцующих и наблюдал. Во всю свою жизнь он ни разу не танцевал, и ни разу в жизни ему не приходилось обнимать талию порядочной женщины. Ему ужасно нравилось, когда человек у всех на глазах брал незнакомую девушку за талию и подставлял ей для руки свое плечо, но вообразить себя в положении этого человека он никак не мог. Было время, когда он завидовал храбрости и прыти своих товарищей и болел душою; сознание, что он робок, сутуловат и бесцветен, что у него длинная талия и рысьи бакены, глубоко оскорбляло его, но с годами это сознание стало привычным, и теперь он, глядя на танцующих или громко говорящих, уже не завидовал, а только грустно умилялся.

Когда началась кадрили, молодой фон Раббек подошел к нетанцующим и пригласил двух офицеров сыграть на бильярде. Офицеры согласились и пошли

с ним из залы. Рябович от нечего делать, желая принять хоть какое-нибудь участие в общем движении, поплелся за ними. Из залы они прошли в гостиную, потом в узкий стеклянный коридор, отсюда в комнату, где при появлении их быстро вскочили с диванов три сонные лакейские фигуры. Наконец, пройдя целый ряд комнат, молодой Раббек и офицеры вошли в небольшую комнату, где стоял бильярд. Началась игра.

Рябович, никогда не игравший ни во что, кроме карт, стоял возле бильярда и равнодушно глядел на игроков, а они, в расстегнутых сюртуках, с киями в руках, шагали, каламбурили и выкрикивали непонятные слова. Игроки не замечали его, и только изредка кто-нибудь из них, толкнув его локтем или зацепив нечаянно кием, оборачивался и говорил: "Par-don!" Первая партия еще не кончилась, а уж он соскучился, и ему стало казаться, что он лишний и мешает... Его потянуло обратно в залу, и он вышел.

На обратном пути ему пришлось пережить маленькое приключение. На полдороге он заметил, что идет не туда, куда нужно. Он отлично помнил, что на пути ему должны встретиться три сонные лакейские фигуры, но прошел он пять-шесть комнат, эти фигуры точно сквозь землю провалились. Заметив свою ошибку, он прошел немного назад, взял вправо и очутился в полутемном кабинете, какого не видал, когда шел в бильярдную; постояв здесь полминуты, он решительно отворил первую попавшуюся ему на глаза дверь и вошел в совершенно темную комнату. Прямо видна была дверная щель, в которую бил яркий свет; из-за двери доносились глухие звуки грустной мазурки. Тут так же, как и в зале, окна были открыты настезь и пахло тополем, сиренью и розами...

Рябович остановился в раздумье... В это время неожиданно для него послышались торопливые шаги и шуршанье платья, женский задыхающийся голос прошептал "наконец-то!", и две мягкие, пахучие, несомненно женские руки охватили его шею; к его щеке прижалась теплая щека и одновременно раздался звук поцелуя. Но тотчас же целовавшая слегка вскрикнула и, как показалось Рябовичу, с отвращением отскочила от него. Он тоже едва не вскрикнул и бросился к яркой дверной щели...

Когда он вернулся в залу, сердце его билось и руки дрожали так заметно, что он поторопился спрятать их за спину. На первых порах его мучили стыд и страх, что весь зал знает о том, что его сейчас обнимала и целовала женщина, он ежился и беспокойно оглядывался по сторонам, но, убедившись, что в зале по-прежнему преспокойно пляшут и болтают, он весь предался новому, до сих пор ни разу в жизни не испытанному ощущению. С ним делалось что-то странное... Его шея, которую только что обхватывали мягкие пахучие руки, казалось ему, была вымазана маслом; на щеке около левого уса, куда поцеловала

незнакомка, дрожал легкий, приятный холодок, как от мятных капель, и чем больше он тер это место, тем сильнее чувствовался этот холодок; весь же он от головы до пят был полон нового странного чувства, которое все росло и росло... Ему захотелось плясать, говорить, бежать в сад, громко смеяться... Он совсем забыл, что он сутуловат и бесцветен, что у него рысьи бакены и "неопределенная наружность" (так однажды была названа его наружность в дамском разговоре, который он нечаянно подслушал). Когда мимо него проходила жена Раббека, он улыбнулся ей так широко и ласково, что она остановилась и вопросительно поглядела на него.

– Ваш дом мне ужасно нравится!.. – сказал он, поправляя очки.

Генеральша улыбнулась и рассказала, что этот дом принадлежал еще ее отцу, потом она спросила, живы ли его родители, давно ли он на службе, отчего так тощ и проч... Получив ответы на свои вопросы, она пошла дальше, а он после разговора с нею стал улыбаться еще ласковее и думать, что его окружают великолепнейшие люди...

За ужином Рябович машинально ел все, что ему предлагали, пил и, не слыша ничего, старался объяснить себе недавнее приключение. Это приключение носило характер таинственный и романический, но объяснить его было нетрудно. Наверное, какая-нибудь барышня или дама назначила кому-нибудь свидание в темной комнате, долго ждала и, будучи нервно возбуждена, приняла Рябовича за своего героя; это тем более вероятно, что Рябович, проходя через темную комнату, остановился в раздумье, то есть имел вид человека, который тоже чего-то ждет... Так и объяснил себе Рябович полученный поцелуй.

"А кто же она? – думал он, оглядывая женские лица. – Она должна быть молода, потому что старые не ходят на свидания. Затем, что она интеллигентна, чувствовалось по шороху платья, по запаху, по голосу..."

Он остановил взгляд на сиреневой барышне, и она ему очень понравилась; у нее были красивые плечи и руки, умное лицо и прекрасный голос. Рябовичу, глядя на нее, захотелось, чтобы именно она, а не кто другая, была тою незнакомкой... Но она как-то неискренне засмеялась и поморщила свой длинный нос, который показался ему старообразным; тогда он перевел взгляд на блондинку в черном платье. Эта была моложе, попроще и искреннее, имела прелестные виски и очень красиво пила из рюмки. Рябовичу теперь захотелось, чтобы она была тою. Но скоро он нашел, что ее лицо плоско, и перевел глаза на ее соседку...

"Трудно угадать, – думал он, мечтая. – Если от сиреневой взять только плечи и руки, прибавить виски блондинки, а глаза взять у этой, что сидит налево от Лобытко, то..."

Он сделал в уме сложение, и у него получился образ девушки, целовавшей его, тот образ, которого он хотел, но никак не мог найти за столом.

После ужина гости, сытые и охмелевшие, стали прощаться и благодарить. Хозяйева опять начали извиняться, что не могут оставить их у себя ночевать.

– Очень, очень рад, господа! – говорил генерал, и на этот раз искренне (вероятно, оттого, что, провожая гостей, люди бывают гораздо искреннее и добрее, чем встречая). – Очень рад! Милости просим на обратном пути! Без церемонии! Куда же вы? Хотите верхом идти? Нет, идите через сад, низом – здесь ближе.

Офицеры вышли в сад. После яркого света и шума в саду показалось им очень темно и тихо. До самой калитки шли они молча. Были они полупьяны, веселы, довольны, но потемки и тишина заставили их на минуту призадуматься. Каждому из них, как Рябовичу, вероятно, пришла одна и та же мысль:

настанет ли и для них когда-нибудь время, когда они, подобно Раббеку, будут иметь большой дом, семью, сад, когда и они будут иметь так же возможность, хотя бы неискренне, ласкать людей, делать их сытыми, пьяными, довольными?

Выйдя из калитки, они все сразу заговорили и без причины стали громко смеяться. Теперь уж они шли по тропинке, которая спускалась вниз к реке и потом бежала у самой воды, огибая прибрежные кусты, промоины и вербы, нависшие над водой. Берег и тропинка были еле видны, а другой берег весь тонул в потемках. Кое-где на темной воде отражались звезды; они дрожали и расплывались – и только по этому можно было догадаться, что река текла быстро. Было тихо. На том берегу стонали сонные кулики, а на этом, в одном из кустов, не обращая никакого внимания на толпу офицеров, громко заливался соловей. Офицеры постояли около куста, потрогали его, а соловей все пел.

– Каков? – слышались одобрительные возгласы. – Мы стоим возле, а он ноль внимания! Этакая шельма!

В конце пути тропинка шла вверх и около церковной ограды впадала в дорогу. Здесь офицеры, утомленные ходьбой на гору, посидели, покурили. На другом берегу показался

красный тусклый огонек, и они от нечего делать долго решали, костер ли это, огонь ли в окне, или что-нибудь другое... Рябович тоже глядел на огонь, и ему казалось, что этот огонь улыбался и подмигивал ему с таким видом, как будто знал о поцелуе.

Придя на квартиру, Рябович поскорее разделся и лег. В одной избе с ним остановились Лобытко и поручик Мерзляков, тихий, молчаливый малый, считавшийся в своем кружке образованным офицером и всегда, где только было возможно, читавший "Вестник Европы", который возил всюду с собою. Лобытко разделся, долго ходил из угла в угол, с видом человека, который не удовлетворен, и послал денщика за пивом. Мерзляков лег, поставил у изголовья свечу и погрузился в чтение "Вестника Европы".

"Кто же она?" – думал Рябович, глядя на закопченный потолок.

Шея его все еще, казалось ему, была вымазана маслом и около рта чувствовался холодок, как от мятных капель. В воображении его мелькали плечи и руки сиреневой барышни, виски и искренние глаза блондинки в черном, талии, платья, броши. Он старался остановить свое внимание на этих образах, а они прыгали, расплывались, мигали. Когда на широком черном фоне, который видит каждый человек, закрывая глаза, совсем исчезали эти образы, он начинал слышать торопливые шаги, шорох платья, звук поцелуя и – сильная беспричинная радость овладевала им... Предаваясь этой радости, он слышал, как денщик вернулся и доложил, что пива нет. Лобытко страшно возмутился и опять зашагал.

– Ну, не идиот ли? – говорил он, останавливаясь то перед Рябовичем, то перед Мерзляковым. – Каким надо быть болваном и дураком, чтобы не найти пива! А? Ну, не каналья ли?

– Конечно, здесь нельзя найти пива, – сказал Мерзляков, не отрывая глаз от "Вестника Европы".

– Да? Вы так думаете? – приставал Лобытко. – Господи, Боже мой, забросьте меня на луну, так я сейчас же найду вам и пива и женщин! Вот пойду сейчас и найду... Назовите меня подлецом, если не найду!

Он долго одевался и натягивал большие сапоги, потом молча выкурил папироску и пошел.

– Раббек, Граббек, Лаббек, – забормотал он, останавливаясь в сенях. – Не хочется идти одному, черт возьми. Рябович, не хотите ли променаж сделать? А?

Не получив ответа, он вернулся, медленно разделся и лег. Мерзляков вздохнул, сунул в сторону "Вестник Европы" и потушил свечу.

– Н-да-с... – пробормотал Лобытко, закуривая в потемках папиросу.

Рябович укрылся с головой и, свернувшись калачиком, стал собирать в воображении мелькающие образы и соединять их в одно целое. Но у него ничего не получилось. Скоро он уснул, и последней его мыслью было то, что кто-то обласкал и обрадовал его, что в его жизни совершилось что-то необыкновенное, глупое, но чрезвычайно хорошее и радостное. Эта мысль не оставляла его и во сне.

Когда он проснулся, ощущения масла на шее и мятного холодка около губ уж не было, но радость по-вчерашнему волной ходила в груди. Он с восторгом поглядел на оконные рамы, позолоченные восходящим солнцем, и прислушался к движению, происходившему на улице. У самых окон громко разговаривали. Батарейный командир Рябовича, Лебедецкий, только что догнавший бригаду, очень громко, от непривычки говорить тихо, беседовал со своим фельдфебелем.

– А еще что? – кричал командир.

– При вчерашней перековке, ваше высокоблагородие, Голубчика заковали. Фельдшер приложил глины с уксусом. Ведут теперь в поводу сторонкой. А также, ваше высокоблагородие, вчерась мастеровой Артемьев напился и поручик велели посадить его на передок запасного лафета.

Фельдфебель доложил еще, что Карпов забыл новые шнуры к трубам и колья к палаткам и что гг. офицеры вчерашний вечер извоили быть в гостях у генерала фон Раббека. Среди разговора в окне показалась рыжебородая голова Лебедецкого. Он пощурил близорукие глаза на сонные физиономии офицеров и поздоровался.

– Все благополучно? – спросил он.

– Коренная подседельная набила себе холку, – ответил Лобытко, зевая, – новым хомутом.

Командир вздохнул, подумал и сказал громко:

– А я еще думаю к Александре Евграфовне съездить. Надо ее проведать. Ну, прощайте. К вечеру я вас догоню.

Через четверть часа бригада тронулась в путь. Когда она двигалась по дороге мимо

господских амбаров, Рябович поглядел вправо на дом. Окна были закрыты жалюзи. Очевидно, в доме все еще спали. Спала и та, которая вчера целовала Рябовича. Он захотел вообразить ее спящую. Открытое настежь окно спальни, зеленые ветки, заглядывающие в это окно, утреннюю свежесть, запах тополя, сирени и роз, кровать, стул и на нем платье, которое вчера шуршало, туфельки, часики на столе – все это нарисовал он себе ясно и отчетливо, но черты лица, милая сонная улыбка, именно то, что важно и характерно, ускользало от его воображения, как ртуть из-под пальца. Проехав полверсты, он оглянулся назад: желтая церковь, дом, река и сад были залиты светом; река со своими ярко-зелеными берегами, отражая в себе голубое небо и кое-где серебрясь на солнце, была очень красива. Рябович взглянул в последний раз на Местечки, и ему стало так грустно, как будто он расставался с чем-то очень близким и родным.

А на пути перед глазами лежали одни только давно знакомые, неинтересные картины... Направо и налево поля молодой ржи и гречихи, с прыгающими грачами; взглянешь вперед – видишь пыль и затылки, оглянешься назад – видишь ту же пыль и лица... Впереди всех шагают четыре человека с шашками – это авангард. За ними толпа песельников, а за песельниками трубачи верхами. Авангард и песельники, как факельщики в похоронной процессии, то и дело забывают об уставном расстоянии и заходят далеко вперед... Рябович находится у первого орудия пятой батареи. Ему видны все четыре батареи, идущие впереди его. Для человека невоенного эта длинная, тяжелая вереница, какую представляется движущаяся бригада, кажется мудреной и мало понятной кашей; непонятно, почему около одного орудия столько людей и почему его везут столько лошадей, опутанных странной сбруей, точно оно и в самом деле так страшно и тяжело. Для Рябовича же все понятно, а потому крайне неинтересно. Он давно уже знает, для чего впереди каждой батареи рядом с офицером едет солидный фейерверкер? и почему он называется уносным; вслед за спиной этого фейерверкера видны ездые первого, потом среднего выноса; Рябович знает, что левые лошади, на которых они сидят, называются подседельными, а правые подручными – это очень неинтересно. За ездывым следуют две коренные лошади. На одной из них сидит ездовой со вчерашней пылью на спине и с неуклюжей, очень смешной деревяшкой на правой ноге; Рябович знает назначение этой деревяшки, и она не кажется ему смешною. Ездые, все, сколько

их есть, машинально взмахивают нагайками и изредка покрикивают. Само орудие некрасиво. На передке лежат мешки с овсом, прикрытые брезентами, а орудие все завешано чайниками, солдатскими сумками, мешочками и имеет вид маленького безвредного животного, которое неизвестно для чего окружили люди и лошади. По бокам его, с подветренной стороны, размахивая руками, шагают шесть человек прислуги. За орудием опять начинаются новые уносные, ездые, коренные, а за ними тянется новое орудие, такое же некрасивое и невнушительное, как и первое. За вторым следует третье, четвертое; около четвертого офицер и т. д. Всех батарей в бригаде шесть, а в каждой батарее по четыре орудия. Вереница тянется на полверсты. Заканчивается она обозом, около которого задумчиво, понурив свою длиннотухую голову, шагает в высшей степени симпатичная рожа – осел Магар, вывезенный одним батарейным командиром из Турции.

Рябович равнодушно глядел вперед и назад, на затылки и на лица; в другое время он задремал бы, но теперь он весь погрузился в свои новые, приятные мысли. Сначала, когда бригада только что двинулась в путь, он хотел убедить себя, что история с поцелуем может быть интересна только как маленькое, таинственное приключение, что по существу она ничтожна и думать о ней серьезно по меньшей мере глупо; но скоро он махнул на логику рукой и отдался мечтам... То он воображал себя в гостиной у Раббека, рядом с девушкой, похожей на сиреневую барышню и на блондинку в черном; то закрывал глаза и видел себя с другою, совсем незнакомою девушкою с очень неопределенными чертами лица; мысленно он говорил, ласкал, склонялся к плечу, представлял себе войну и разлуку, потом встречу, ужин с женой, детей...

– К валькам! – раздавалась команда всякий раз при спуске с горы.

Он тоже кричал "к валькам!" и боялся, чтобы этот крик не порвал его мечты и не вызвал бы его

к действительности...

Проезжая мимо какого-то помещичьего имения, Рябович поглядел через палисадник в сад. На глаза ему попала длинная, прямая, как линейка, аллея, посыпанная желтым песком и обсаженная молодыми березками... С жадностью размечтавшегося человека он представил себе маленькие женские ноги, идущие по желтому песку, и совсем неожиданно в его воображении ясно вырисовалась та, которая целовала его и которую он сумел

представить себе вчера за ужином. Этот образ остановился в его мозгу и уж не оставлял его.

В полдень сзади, около обоза, раздался крик:

– Смирно! Глаза налево! Господа офицеры! В коляске, на паре белых лошадей, прокатил бригадный генерал. Он остановился около второй батареи и закричал что-то такое, чего никто не понял. К нему поскакали несколько офицеров, в том числе и Рябович.

– Ну, как? Что? – спросил генерал, моргая красными глазами. – Есть больные?

Получив ответы, генерал, маленький и тощий, пожевал, подумал и сказал, обращаясь к одному из офицеров:

– У вас коренной ездовой третьего орудия снял наколенник и повесил его, каналья, на передок. Взыщите с него.

Он поднял глаза на Рябовича и продолжал:

– А у вас, кажется, нашильники слишком длинны... Сделав еще несколько скучных замечаний, генерал поглядел на Лобытко и усмехнулся.

– А у вас, поручик Лобытко, сегодня очень грустный вид, – сказал он. – По Лопуховой скучаете? А? Господа, он по Лопуховой соскучился!

Лопухова была очень полная и очень высокая дама, давно уже перевалившая за сорок. Генерал, питавший пристрастие к крупным особам, какого бы возраста они ни были, подозревал в этом пристрастии и своих офицеров. Офицеры почтительно улыбнулись. Бригадный, довольный тем, что сказал что-то очень смешное и ядовитое, громко захохотал, коснулся кучерской спины и сделал под козырек. Коляска покатила дальше...

"Все, о чем я теперь мечтаю и что мне теперь кажется невозможным и неземным, в сущности очень обыкновенно, – думал Рябович, глядя на облака пыли, бежавшие за генеральской коляской. – Все это очень обыкновенно и переживается всеми... Например, этот генерал в свое время любил, теперь женат, имеет детей. Капитан Вахтер тоже женат и любим, хотя у него очень некрасивый красный затылок и нет талии... Сальманов груб и слишком татарин, но у него был роман, кончившийся женитьбой... Я такой же, как и все, и переживу рано или поздно то же самое, что и все..."

И мысль, что он обыкновенный человек и что жизнь его обыкновенна, обрадовала и подбодрила его. Он уже смело, как хотел, рисовал ее и свое счастье и ничем не стеснял своего воображения...

Когда вечером бригада прибыла к месту и офицеры отдыхали в палатках, Рябович, Мерзляков и Лобытко сидели вокруг сундука и ужинали. Мерзляков не спеша ел и, медленно жуя, читал "Вестник Европы", который держал на коленях. Лобытко без умолку говорил и подливал в стакан пиво, а Рябович, у которого от целодневных мечтаний стоял туман в голове, молчал и пил. После трех стаканов он охмелел, ослабел, и ему неудержимо захотелось поделиться с товарищами своим новым ощущением.

– Станный случился со мной случай у этих Раббеков... – начал он, стараясь придать своему голосу равнодушный и насмешливый тон. – Пошел я, знаете ли, в бильярдную...

Он стал рассказывать очень подробно историю с поцелуем и через минуту умолк... В эту минуту он рассказал все, и его страшно удивило, что для рассказа понадобилось так мало времени. Ему казалось, что о поцелуе можно рассказывать до самого утра. Выслушав его, Лобытко, много лгавший, а потому никому не веривший, недоверчиво посмотрел на него и усмехнулся. Мерзляков пошевелил бровями и покойно, не отрывая глаз от "Вестника Европы", сказал:

– Бог знает что!.. Бросается на шею, не окликнув... Должно быть, психопатка какая-нибудь.

– Да, должно быть психопатка.... – согласился Рябович.

– Подобный же случай был однажды со мной... – сказал Лобытко, делая испуганные глаза. – Еду я в прошлом году в Ковно... Беру билет второго класса... Вагон битком набит, и спать невозможно. Даю кондуктору полтину... Тот берет мой багаж и ведет меня в купе... Ложусь и укрываюсь одеялом... Темно, понимаете ли. Вдруг слышу, кто-то трогает меня за плечо и дышит мне на лицо. Я этак сделал движение рукой и чувствую чей-то локоть... Открываю глаза и, можете себе представить, – женщина! Черные глаза, губы красные, как хорошая семга, ноздри дышат страстью, грудь – буфера...

– Позвольте, – перебил покойно Мерзляков, – насчет груди я понимаю, но как вы могли увидеть губы, если было темно?

Лобытко стал изворачиваться и смеяться над несообразительностью Мерзлякова. Это покорило Рябовича. Он отошел от сундука, лег и дал себе слово никогда не откровенничать.

Наступила лагерная жизнь... Потекли дни, очень похожие друг на друга. Во все эти дни Рябович чувствовал, мыслил и держал себя, как влюбленный. Каждое утро, когда денщик подавал ему умываться, он, обливая голову холодной водой, всякий раз вспоминал, что в его жизни есть что-то хорошее и теплое.

Вечерами, когда товарищи начинали разговор о любви и о женщинах, он прислушивался, подходил

ближе и принимал такое выражение, какое бывает на лицах солдат, когда они слушают рассказ о сражении, в котором сами участвовали. А в те вечера, когда подгулявшее обер-офицерство с сеттером-Лобытко во главе делало донжуанские набеги на "слободку", Рябович, принимавший участие в набегах, всякий раз бывал грустен, чувствовал себя глубоко виноватым и мысленно просил у нее прощения... В часы безделья или бессонные ночи, когда ему приходила охота вспоминать детство, отца, мать, вообще родное и близкое, он непременно вспоминал и Местечки, странную лошадь, Раббека, его жену, похожую на императрицу Евгению, темную комнату, яркую щель в двери...

Тридцать первого августа он возвращался из лагеря, но уже не со своей бригадой, а с двумя батареями. Всю дорогу он мечтал и волновался, точно ехал на родину. Ему страстно хотелось опять увидеть странную лошадь, церковь, неискреннюю семью Раббеков, темную комнату; "внутренний голос", так часто обманывающий влюбленных, шептал ему почему-то, что он непременно увидит ее... И его мучили вопросы: как он встретится с ней? о чем будет с ней говорить? не забыла ли она о поцелуе? На худой конец, думал он, если бы даже она не встретила его, то для него было бы приятно уже одно то, что он пройдет по темной комнате и вспомнит...

К вечеру на горизонте показались знакомая церковь и белые амбары. У Рябовича забилось сердце... Он не слушал офицера, ехавшего рядом и что-то говорившего ему, про все забыл и с жадностью всматривался в блестящую вдали реку, в крышу дома, в голубятню, над которой кружились голуби, освещенные заходящим солнцем.

Подъезжая к церкви и потом выслушивая квартирьера, он ждал каждую секунду, что из-за ограды покажется верховой и пригласит офицеров к чаю, но... доклад квартирьеров кончился, офицеры спешили и побрели в деревню, а верховой не показывался...

"Сейчас Раббек узнает от мужиков, что мы приехали, и пришлет за нами", – думал Рябович, входя в избу и не понимая, зачем это товарищ зажигает свечу и зачем денщики спешат ставить самовары...

Тяжелое беспокойство овладело им. Он лег, потом встал и поглядел в окно, не едет ли верховой? Но верхового не было. Он опять лег, через полчаса встал и, не выдержав беспокойства, вышел на улицу и зашагал к церкви. На площади, около ограды, было темно и пустынно... Какие-то три солдата стояли рядом у самого спуска и молчали. Увидев Рябовича, они встrepенулись и отдали честь. Он откозырял им в ответ и стал спускаться вниз по знакомой тропинке.

На том берегу все небо было залито багровой краской: восходила луна; какие-то две бабы, громко разговаривая, ходили по огороду и рвали капустные листья; за огородами темнело несколько изб... А на этом берегу было все то же, что и в мае: тропинка, кусты, вербы, нависшие над водой... только не слышно было храброго соловья, да не пахло тополем и молодой травой.

Дойдя до сада, Рябович заглянул в калитку. В саду было темно и тихо... Видны были только белые стволы ближайших берез да кусочек аллеи, все же остальное мешалось в черную массу. Рябович жадно вслушивался и всматривался, но, простояв с четверть часа и не дождавшись ни звука, ни огонька, поплелся назад...

Он подошел к реке. Перед ним белели генеральская купальня и простыни, висевшие на перилах мостика... Он взошел на мостик, постоял и без всякой надобности потрогал простыню. Простыня оказалась шершавой и холодной. Он поглядел вниз на воду... Река бежала быстро и едва слышно журчала около сваен купальни. Красная луна отражалась у левого берега; маленькие волны бежали по ее отражению, растягивали его, разрывали на части и, казалось, хотели унести...

"Как глупо! Как глупо! – думал Рябович, глядя на бегущую воду. – Как все это не умно!"

Теперь, когда он ничего не ждал, история с поцелуем, его нетерпение, неясные Надежды и разочарование представлялись ему в ясном свете. Ему уж не казалось странным, что он не дождался генеральского верхового и что никогда не увидит той, которая случайно поцеловала его вместо другого; напротив, было бы странно, если бы он увидел ее...

Вода бежала неизвестно куда и зачем. Бежала она таким же образом и в мае; из речки

в мае месяце она влилась в большую реку, из реки в море, потом испарилась, обратилась в дождь, и быть может, она, та же самая вода, опять бежит теперь перед глазами Рябовича... К чему? Зачем?

И весь мир, вся жизнь показались Рябовичу непонятной, бесцельной шуткой... А отведя глаза от воды и взглянув на небо, он опять вспомнил, как судьба в лице незнакомой женщины нечаянно обласкала его, вспомнил свои летние мечты и образы, и его жизнь показалась ему необыкновенно скудной, убогой и бесцветной...

Когда он вернулся к себе в избу, то не застал ни одного товарища. Денщик доложил ему, что все они ушли к "генералу Фонтрябкйну", приславшему за ними верхового... На мгновение в груди Рябовича вспыхнула радость, но он тотчас же потушил ее, лег в постель и назло своей судьбе, точно желая досадить ей, не пошел к генералу.